

Леонид Котляр

Моя солдатская судьба

*Часть II. Чужая сторона**

Гороховый суп

Как только мы пересекли границу Германии, охранявшие нас немецкие солдаты заметно повеселели и расслабились: вагоны больше не запирались снаружи, нас только предупредили, что каждый при попытке к бегству будет расстрелян на месте, и предоставили возможность рассматривать Германию в приоткрытую дверь вагона. Эта страна выглядела так мирно, так идиллически чисто и аккуратно, что даже сама мысль о войне, о разрушенных городах, исковерканных судьбах, тысячах пепелищ, миллионах замученных и убитых казалась просто нелепой выдумкой.

12 октября 1942 года нас высадили из эшелона на отдаленной от вокзала платформе в Нюрнберге. День был солнечный, теплый, мои озябшие в полутьме вагона босые ноги согрелись на теплом асфальте. Нам была предоставлена возможность воспользоваться специально вырытым для нас рвом-уборной, а затем нас впервые за всю дорогу накормили густым, вкусным гороховым супом с белыми разварившимися в нем макаронами. Так вкусно и сытно немцы кормили нас в первый и в последний раз. Из Нюрнберга нас увезли в Битигтайм, в распределительный лагерь, где предупреждающие надписи на русском языке, заканчивающиеся словом *раст-стрел*, пестрели на всех оградах из сетчатой проволоки. Там нас наново

* Продолжение. Начало см.: *Голокост і сучасність*. — 2005. — № 1. — С. 74–97.

подвергли тщательной санобработке и через сутки-другие отправили в Штутгарт.

«Променад»

Фирма в Штутгарте, куда нас, человек триста, определили на работу, называлась «Зюддейче Кюлерфабрик Юлиус Фридрих Бер». Это был завод, изготавливавший всевозможные радиаторы для двигателей внутреннего сгорания. С вокзала нас пешком повели в лагерь. Наша живописная колонна шагала по улицам Штутгарта, целехонького, ухоженного, зеленого, не тронутого войной. Мы глазели на непривычную готическую архитектуру, на высокие и крутые черепичные крыши, островерхие башни и башенки, а немцы-прохожие оглядывались на нас, всем своим видом выражая презрение и собственное превосходство.

Нас поселили в лагере, отделенном от города несколькими гектарами лесопарка, называвшегося Шлётвизе. От «аборигенов», привезенных сюда из Смоленщины и Уманского района Киевской области мы узнали, что кормят плохо и что производством радиаторов заняты не все: некоторые роют землю на строительстве нового цеха.

Погода испортилась, шел мелкий холодный дождик. Прошлая профессия Ивана никак не могла ему здесь стодиться — он работал на мясокомбинате в Ленинграде. Я и вовсе не имел никакой специальности. Таким образом, нам открывалась прямая дорога в строители-землекопы. Перспектива копать мокрую землю на голодный желудок, босиком, под зачистившим осенним дождем не очень-то улыбалась. Я предложил сказать, что мы слесаря. Иван отнесся к моему предложению весьма скептически, но я стоял на своем: напильник или ножовку держать в руках мы умели, зубило и молоток тоже были нам не в диковинку. У нас даже были туманные сведения об электросварке и автогене. Решили рискнуть. В крайнем случае дадут по шее, а кирка и лопата от нас не убегут.

Радиаторный завод состоял из двух предприятий — Верк-I и Верк-II, расположенных на расстоянии менее километра друг от друга, но в разных районах города, разделенных насыпью железнодорожного полотна: Верк-I — в Штутгарт-Фейербах, а Верк-II — в Штутгарт-Цуффенгаузен. Мы с Иваном попали на Верк-I.

Утром нас привели в мастерскую по ремонту заводского оборудования и сантехники, где работали три немца: Глязер, Зингер и Шахт. Младшему из них было за шестьдесят, старшему — около восьмидесяти. Были они слесарями-универсалами высокой квалификации.

К моменту нашего с Иваном появления в мастерской сюда явился собственной персоной мастер и начальник ремонтно-строительного цеха

Гаймш — высокий, стройный, седой, подстриженный ежиком старик лет семидесяти в очках с золотой оправой. Вся его фигура излучала важность и начальственность. Он дал мне в руки драчовый напильник и собственноручно зажал в тиски короткий отрезок водопроводной трубы в вертикальном положении. Это и была проверка: человек, назвавшийся слесарем, знает, что следует делать с оказавшимся у него в руках инструментом. Этому меня учили в школе, и иронично-одобрительные возгласы присутствующих не оставляли сомнений в том, что экзамен я сдал. Иван тоже не ударил лицом в грязь: ему предложили ножовку, а трубку зажали в тиски горизонтально. Убедившись, что гаечный ключ для нас тоже не Бог весть какая диковина, мастер Гаймш удалился, утратив к нам всякий интерес, а Шахт сразу предложил нам заняться делом: отвел в небольшой неярко освещенный цех без окон, где под потолком на шарикоподшипниковых кронштейнах находились подлежащие демонтажу валы трансмиссий. Мы получили стремянку, набор гаечных ключей и молоток и приступили к работе. Я охотно полез бы на стремянку, потому что мне холодно было стоять босыми ногами на сыром цементном полу, покрытом пылью, замешанной на какой-то кислоте (видимо, здесь был электролизный цех), но Шахт отправил на лестницу более внушавшего доверие Ивана. Я же подавал ему инструмент и принимал из его рук демонтированные детали.

Шахт ненадолго отлучился, а когда вернулся, в руках у него были башмаки на деревянной подошве и чистые тряпки, которым предназначалась роль портянок. Работа была прервана, и я стал обуваться. Обувка оказалась впору, мне стало тепло, я поблагодарил немца, а он стал острить по поводу элегантности моей наружности, в том смысле, что мне смело можно отправляться на «променад», «шпацирен», для чего не хватает только дорогой сигары у меня в зубах. Он несказанно обрадовался, когда убедился, что мы поняли его шутку и оценили ее по достоинству. После этого Шахт ушел и долго не возвращался, пока неожиданно для нас не прозвенел звонок. Это был перерыв на завтрак («фекшпор» по-баварски). Завтракать нам было нечем, но перерывом мы воспользовались и вышли во двор, где уже вполне рассвело и где мы увидели военнопленных французов, куривших, сидя на ящиках под стенкой административного здания. Французы оживленно разговаривали, и я впервые услышал певучую французскую речь, а прислушавшись, понял одно только слово: Сталинград.

Сталинград

Находясь на хуторе Петровском и следуя эшелонам в Германию, мы не имели хоть сколько-нибудь ясного представления о положении на фрон-

тах и о ходе войны вообще. Известие о боях под Сталинградом потрясло нас уже тем, что немцы так далеко зашли на нашу территорию.

Немецкие газеты считали падение Сталинграда неминуемым, называли сроки в одну-две недели, помещали фотографии немецких солдат, черпающих котелками или касками воду из Волги. Того же мнения придерживались и немцы на заводе. Особенно торжествовал один из них, молодой очкарик, появившийся в нашей мастерской через неделю, когда мы закончили демонтаж трансмиссий, а события в Сталинграде приобрели остро-драматический накал. Очкарик этот был на редкость словоохотлив, и каждое утро его речи начинались словом «Шталинград». Он старался нам втолковать, что с падением Сталинграда войну Германии против Советского Союза можно будет считать почти законченной. Того же опасались и пленные французы. Тянулись унылые, голодные, бесконечные от пассивного и напряженного ожидания дни и недели.

О поражении немцев в Сталинграде мы узнали от тех же французов. Они поздравляли нас, пожимали нам руки так, как будто это мы лично окружили и разгромили полумиллионную армию Паулюса. Французы ликовали и верили, что теперь до конца войны остается два-три месяца, максимум — полгода. Теперь и мы не сомневались в победе, но понимали, что сроки, определяемые французами, далеки от трезвого понимания существующих реальностей и масштабов происходящих на востоке событий и расстояний.

Вечером, после ужина (двух-трех картофелин в мундирах) и раздачи хлеба на завтра, мы, как всегда, строились перед барак-столовой, чтобы идти в лагерь на ночлег, когда к нам обратился переводчик Фриц. В Германии, сказал он, объявлен недельный траур по шестисоттысячной немецкой армии, оставшейся в заснеженных степях под Сталинградом, а значит, в течение недели мы не должны петь песен, возвращаясь вечером в лагерь. Сам Фриц несколько не походил при этом на убитого горем патриота.

Дело в том, что 2-х километровую дорогу от столовой до лагеря мы обычно проходили с песнями. Возвращались колонной, охраняемые вооруженным конвоиром с овчаркой, и песни скрашивали нам этот путь. Петь разрешалось все, что угодно, и наиболее популярными были песни самого патриотически-советского содержания. Они нам помогали все стерпеть и выжить. Не пелись разве что гимны, зато весьма популярны были «Три танкиста», «Катюша», «Броня крепка», «Каховка», «Дан приказ ему на запад», «Скакал казак» и другие строевые и нестроевые песни. Хотя нашу колонну никак нельзя было назвать строем в привычном понимании этого слова.

А в тот вечер мы не пели. Моросил мелкий дождь, но мы его не замечали, даже усталость и голод не казались такими уж чувствительными.

И наше молчание звучало таким торжеством, как самая радостная, самая торжествующая песня! О первой победе под Москвой в декабре 41-го я вообще тогда еще ничего не знал, как, вероятно, и многие из нас, и потому Сталинградскую считал первой и единственной.

Пушинка

Все мы, привезенные в Германию с оккупированных территорий Советского Союза, назывались «остарбайтерами» — восточными рабочими, в отличие от военнопленных, и носили на груди, на выданных нам спецовках, квадратный синий знак «OST», с нарисованными белой краской буквами. Если у кого-то была еще иная одежда, кроме спецовки, то и к ней полагалось пришивать этот знак.

Поднимали нас в полшестого утра, рабочий день на заводе длился 12 часов, а в субботу — 5, в воскресенье был выходной, но его у нас часто отнимали то лагерное начальство, то заводская администрация, гоня на разные работы. На протяжении первых двух лет нам платили по 8 марок в месяц, а затем по 16. Отказаться от работы ни у кого не хватало смелости, да и смысла не было, потому что работать тебя все равно заставят, но уже в концлагере, который для меня означал еще и безусловное разоблачение и неизбежную смерть. Как-то я наблюдал, как лагерфюрер Майер сдувал пушинку с рукава своего черного эсэсовского мундира, и подумал, что мой отказ от работы значил бы для Германии меньше, чем эта пушинка на рукаве у Майера, а мне стоил бы жизни, за которую я продолжал бороться. Если еврей с сентября 41-го все еще не разоблачен немцами, если он проявил столько изобретательности и воли, мужества и хладнокровия и Господь Бог ему помогал в самых безнадежных ситуациях, то он уже просто не имеет права добровольно отказаться от борьбы. Такой поступок означал бы акт капитуляции человека, дерзнувшего в одиночку вступить в единоборство с огромным, четко отлаженным механизмом массового истребления евреев.

Но меня постоянно угнетало сознание того, что я работаю на Германию и тем помогаю фашистам вести войну против моей родины. Мысли о том, что я тружусь во вред своей стране, не давали мне покоя, и я задумывался о том, могу ли я хоть чем-то вредить немцам. Мое положение рабочего-слесаря по ремонту оборудования все-таки таило в себе такую возможность. И дважды я ею воспользовался. Однажды нам пришлось вынуть вентилятор из вытяжной трубы, когда у него сломалась лопасть. Цех простоял два-три дня. Не прошло и трех месяцев, как подобная авария повторилась, и Глязер недоумевал, что же это могло упасть на лопасть в трубе. А я поду-

мал, что если положить на фланец внутри вытяжной трубы небольшую гайку, то при вибрации от работы вентилятора она непременно сползет, и лопасть опять сломается. И я сделал это, и моя операция удалась, и цех снова простоял два дня.

В другой раз я недостаточно тщательно замуровал газовую латунную горелку, которая поддерживала необходимую температуру в печи-ванной, куда в расплавленное олово окунали собранные радиаторы. Очень скоро горелка лопнула с громким выстрелом-хлопком. А новых латунных горелок уже не было: их стали изготавливать из сплава похуже качеством, и срабатывались они гораздо быстрее латунных. Поэтому во всем обвинили нелатунную горелку. Конечно же, я очень рисковал. Я старался быть минимально полезным своим врагам. По совету пленных французов перенял их медлительную походку рабов. Они меня за это хвалили и говорили, что такую походку следует перенять всем русским.

Сталинградское поражение немцев сблизило нас с французами. Они всегда делились с нами откуда-то поступавшей к ним информацией о положении на Восточном фронте. И каждый раз, когда мы узнавали об очередном наступлении наших войск, мы долго не спали, и долго не смолкали разговоры у нас в комнате (барак был разбит на шесть комнат). У себя в комнате мы не боялись доносов и могли свободно высказываться. Хотя, конечно же, я все-таки не мог позволить себе признаться, что я еврей. Меня бы несомненно выдали.

Комната

Вряд ли мне удастся перечислить всех жильцов нашей комнаты, но я попытаюсь. Саша Алексеев (Ткачев) — политработник невысокого ранга; Петя Горшков; Петя Рыжков; Николай Медведев; Вася-сибиряк и Вася из Чувашии; Павел Бриллиант; Михаил Виноградов; Минорин; Штепа (Шолохов) — политработник высокого ранга; Саша Козаренко (со своим баяном); Игнат и Егорка, фамилии которых уже не помню; грузин Псикалов (или осетин?); Леня по прозвищу Моряк; Федя Цыганков; Петр Селивестров и Атаманчук — оба донские казаки; еще один Васька — начальник почты, отсидевший в тюрьме за злоупотребления; его приятель Иван; Андрей Михацлец; киевлянин Женя (авиатор). Все они, как и мы с Иваном, бывшие военнопленные, волею случая ставшие «остарбайтерами». И еще дезертир Щербина и деревенский малолетка, имени которого не помню, добровольно уехавший из дому в Германию и горько пожалевший об этом. Кажется, я все-таки перечислил всех, потому что их оказалось 24, а двухэтажных коек в комнате было двенадцать (или тринадцать?).

12

Самыми образованными из нас были инженеры Виноградов и Минерин и политработник Штепа (оказавшийся впоследствии Шолоховым) — троица, привезенная в Германию раньше нас со Смоленщины. Они жили маленькой сплоченной коммуной, пользовались у нас непрерываемым авторитетом, хорошо играли на струнных музыкальных инструментах и составляли довольно слаженное трио: гитара, мандолина, балалайка. Лучше всего им удавался жанр городского романа. Получались у них и народные песни. Особенно нравился мне в их исполнении романс «Умер бедняга в больнице военной». Раньше я его никогда не слышал, и запомнился он мне, видимо, потому, что как нельзя лучше соответствовал моему тогдашнему состоянию.

Васька, отсидевший срок, и Федя Цыганков были заядлыми картежниками, нередко затевавшими игру в «очко» на всю ночь после получки. За столом собирались игроки преимущественно из других комнат. К утру львиная доля их рейхсмарок оказывалась в карманах Васьки и Феде.

Знатоком немецкого языка в нашей комнате был Виноградов. Он свободно читал немецкие газеты и часто приносил в барак «Штутгартер цайтунг» или «Фолькишер беобахтер». Если делать поправку на трюки пропаганды, из этих газет можно было получить приблизительное представление о том, что происходит на фронтах.

Получали мы в лагере (бесплатно) раз в неделю газетку на русском языке. В ней с большим опозданием помещались краткие сообщения с фронтов, много антисемитских публикаций, а также антисоветских и антикоммунистических. Мне запомнилось, как эта газетка отреагировала на введение в Красной Армии погон. На карикатуре был изображен генерал с ярко выраженной еврейской внешностью, любующийся своим отражением в зеркале в мундире с генеральскими погонами. Надпись гласила: «Циперович в новых погонах». Сталинские репрессии давали, к сожалению, весьма обширный, а главное, правдивый материал для этой газеты. Невозможно было не верить приводившимся фактам, поражавшим своей жестокостью и бессмысленной несправедливостью. Смысл таких публикаций сводился к тому, что уж кому-кому, а советским военнопленным и остарбайтерам незачем желать победы Красной Армии, если они не хотят остаток жизни гнить в советском ГУЛАГе или быть замученными в застенках НКВД. Но все равно я с нетерпением ждал победы над нацистами. Хоть краем глаза хотелось увидеть день расплаты за их злодеяния.

Особенно усилилась антисоветская тема в газетке после разгрома немцев на Курской дуге. Тогда же усилилась вербовка во Власовскую армию, называемую РОА (Российская освободительная армия). А мы во власовцы не шли и старались выжить в тяжелых условиях немецкого рабства. (Власовцев хорошо кормили.)

Не хватало только шнаги

Небольшую возможность прокормиться давал нам овощной ларек, располагавшийся по дороге на Верк-I у железнодорожной насыпи. Ларек открывался рано утром, когда мы шли на завод. Вахман разрешал нам оставлять в ларьке мешочки с привязанной к каждому из них немецкой маркой. У нас в строю был свой переводчик Ваня Ховренков, деревенский девятиклассник из-под Смоленска, хорошо выучивший немецкий язык в школе. Он бегом относил по утрам мешочки, а вечером владельцы мешочков получали заказанные восемь килограммов картошки. Картошку заказывали не часто, не хватало денег.

Кто-то разведдал, что по субботам в одном из магазинов в Штутгарт-Фейербах иногда продается кровяная колбаса без карточек (она мало напоминала нашу украинскую кровянку, но все-таки была подобием колбасы). По субботам мы работали до полудня, и, если вахман разрешал, два-три человека, покинув строй, отлучались за этой колбасой. А то и навевывались в центр Штутгарта, где иногда тоже удавалось раздобыть что-нибудь из продовольствия. Правда, возвращение в лагерь самостоятельно, вне строя, было делом рискованным, не всегда легко осуществимым. Но постоянный голод толкал на риск. Оказавшись в городе, можно было, если повезет, раздобыть и «брот-марки» — талончики на хлеб, вырезанные из продуктовых карточек. Каждый талончик был не больше почтовой марки, но по этому талону в хлебном магазине можно было за 33 пфеннига купить полукилограммовую буханку отличного серого хлеба, слегка напоминающего украинский хлеб в Киеве, но гораздо лучшего качества. Любопытно, что качество хлеба, который по всей Германии выпекался и продавался в небольших пекарнях-магазинах их владельцами, везде было отличное, а буханки похожи одна на другую, как близнецы, без единого изъяна. Брот-марки продавали исподтишка сербы, поляки, болгары и другие иностранные рабочие по цене от пяти до десяти марок. Итак, при наличии денег и некотором везении иногда удавалось в воскресенье полакомиться вареной картошкой с кровяной колбасой и настоящим пшеничным хлебом. Тот, кто отваживался добраться до центра Штутгарта, мог, в случае удачи, зайти в помещение крытого рынка, единственного в городе, и поесть овощного супу за 20 пфеннигов или купить двухсотграммовый пакетик форшмака из ржавой селедки крутого посола, который тоже был для нас редким и желанным лакомством. Но для поездки в центр на трамвае нужна была мало-мальски сносная гражданская одежда, а не синяя спецовка со знаком «ОСТ», а кроме того, — умение перекинуться несколькими немецкими словами с торговцами на рынке, чтобы сойти за какого-нибудь ино-

странного рабочего, но не из Советского Союза, поскольку остарбайтерам категорически запрещалось самовольно покидать свои лагеря.

А гражданскую одежду можно было раздобыть на одной из окраин Штутгарта, где полулегально собиралась по воскресеньям толкучка. Там, в тупике под железнодорожным виадуком собиралась многочисленная и разноязыкая толпа продавцов и покупателей подержанной обуви и одежды. Я посещал этот рынок вместе с Иваном в 44-м году не более двух раз. (Однажды, возвращаясь оттуда, мы попали на представление цирка-шапито — зрелище во всех отношениях убогое).

Изворотливый и предприимчивый человек, не боявшийся рисковать и использовавший периодические послабления лагерного режима, мог извлекать немалую пользу из воскресных посещений центра города и веще-вой толкучки. Таким человеком оказался Иван Доронин, за короткое время наживший хромовые сапоги, почти новенький кофейного цвета костюм, демисезонное пальто грубой шерсти, кожаные перчатки, гитару, две простыни и наволочку. Это было колоссальное богатство. Каким образом все эти предметы роскоши достались Ивану, он держал в секрете даже от меня, а я ни о чем не расспрашивал. Под гитару мы иногда пели с ним романсы и блатные песни, а костюм и перчатки запечатлены вместе с Иваном и трогательной надписью, сделанной им, на фотокарточке 9×12, до сих пор хранящейся у меня.

Вскоре и я обзавелся кое-какой одежкой. Способствовало этому приближение весны, которая в Штутгарте наступает уже в конце февраля. Мы стали очень дешевой рабочей силой для местных жителей, владевших небольшими земельными участками в черте города. Работали мы за кусок хлеба, за тарелку супа. Получить такую работу считалось большой удачей. Мне тоже повезло: я напросился на работу у старого Ёзефа, работавшего по соседству с нашей слесарной мастерской в смежном помещении за деревянной перегородкой. Он снабжал заводские цеха газом, необходимым для пайки радиаторов и других работ. Газ производился тут же из карбида и подавался по трубам в цеха. Жил Ёзеф на противоположном конце города и добирался на работу двумя трамваями. В один из весенних субботних дней сразу после работы он повез меня к себе домой. На мне была спецовка со знаком «ОСТ», но в сопровождении немца это не помешало мне пересечь на трамваях весь город. Возвращался я в поношенном, но чистом грубошерстном пиджаке и в светло-серых в елочку широких брюках с манжетами, которые, в общем-то, полагалось застегивать над щиколоткой напуском на носки-гольфы или краги. Я же, за неимением ни того, ни другого, надел их, как обычные брюки, застегнув манжеты у самых косточек. Пошел дождик, и Ёзеф снабдил меня старым прорезиненным плащом-на-

кидкой и широкополой фетровой шляпой. Когда я в таком живописном наряде, благополучно завершив свой путь по вечернему городу и через лагерный забор, предстал перед своими товарищами по комнате, они чуть не лишились дара речи, а затем разразились гомерическим смехом. В моем наряде не хватало только шпаги. И все-таки смех был вызван скорее неожиданностью зрелища, поскольку экстравагантность нашей случайно добытой одежды никого не удивляла. У Ёзефа меня накормили, и это было достаточной платой за работу. Остальное следовало отнести на счет благотворительности его симпатичной и доброй жены, которая рассказала мне об их единственном сыне — солдате, который был все еще жив только потому, как она полагала, что не попал на Восточный фронт.

Уже зимой 43-го года наш лагерь был обнесен высоким деревянным забором, секции которого состояли из реек, образующих ромбообразные клетки-решетку, облегчавшую его преодоление. Поверх забора была натянута в два ряда проволока, обычная, не колючая, преодоление затруднявшая. Перелезть через забор, хоть и высокий, было сравнительно легко, но сделать это быстро не удавалось, а очень хотелось, потому что охрана держала забор под контролем: могла появиться в любую минуту и выстрелить без предупреждения. Иногда режим в лагере резко ужесточался без всякой видимой причины. Тогда свободный вход и выход разрешали только по воскресеньям, а то и вовсе запрещали. В бараках устраивались бесконечные проверки. А ослабление режима наступало, как правило, после сильных бомбежек авиацией союзников. На немецкую землю надвигалось возмездие.

Возмездие

Значительное ослабление режима наступило после поражения немцев на Курской дуге, когда Ёзеф позвал меня к себе в свои газовые чертоги, тщательно проверил, нет ли кого поблизости, и спросил, будут ли русские, когда придут в Штутгарт, отправлять немцев в Сибирь. Я выразил сомнения в том, что наши войска могут оказаться на юго-западе Германии, но Ёзеф в этом ни минуты не сомневался, и его волновал лишь вопрос возмездия, которое неминуемо падет на головы всех немцев, а, значит, и на его седую голову. Я не считал, что возмездие ожидает всех немцев, и, тем более, что все они окажутся в Сибири, и пытался успокоить его на этот счет, но по его глазам видел, что мне это не очень удалось.

В те дни я с удовольствием наблюдал, как теряют душевное равновесие немцы. Линия Восточного фронта была еще где-то там, далеко, а до высадки союзников в Нормандии оставалось еще около года, но поражение не-

уклонно приближалось к рубежам Германии. Обещаниям Геббельса, что русским никогда не одолеть «Восточного вала», воздвигаемого немцами вдоль Днепра, верили немногие. Налеты англичан и американцев участились и становились все более беспощадными. Все чаще завывали по ночам сирены воздушной тревоги и громыхали зенитки. По ночам, разбуженные воем сирен, самые слабые нервные вскакивали с постелей и убегали из лагеря. Лагерные власти им препятствий не чинили. Но Штутгарт оставался до времени нетронутым.

Мы с Иваном не покидали своих постелей, хотя и не спали, вслушиваясь в темноту за стенами барака. Когда грохот становился внушительным, кто-нибудь из нас выскакивал на крыльцо поглядеть, что происходит в небе и вокруг. Для нас этот вой и грохот звучал подобно музыке, и я с удовольствием прислушивался к глухому рокоту пролетающих над нами воздушных армад, нетерпеливо ожидая того часа, когда их удары обрушатся на Штутгарт.

Этот налет поднял-таки с постелей всех. Мы долежались до того, что стали ходуном ходить стены и наши двухэтажные деревянные койки. Когда мы, наскоро одевшись, выбежали из тьмы барака, два блока соседнего барака уже пылали. Великолепными разноцветными фонтанами огня играли зажигательные бомбы, похожие на огромные граненые карандаши. Расчлененный на секции лагерьный забор лежал на земле. А совсем недалеко одна за другой, сотрясая воздух, рвались бомбы. «А ты не трус, Ленья», — сказал Иван, когда мы углубились в лес в противоположную от рвущихся бомб сторону. Я рассмеялся в ответ, потому что те же самые слова в адрес Ивана готовы были сорваться и у меня с языка. Я понимал, что Иван подозревал во мне труса, после того, как я отказывался от его планов бегства.

В ту осеннюю ночь основательно пострадал Штутгарт-Фейербах. А в начале 1944 года авиация союзников нанесла такой удар по городу, что утром полнеба до самого горизонта было закрыто густым черным дымом. На нашем Верк-1 как ветром сдуло большой одноэтажный цех, а наш вос-



*Возле лагеря.
Штутгарт-Фейербах, 1944 г.*

становленный после предыдущей бомбежки лагерный забор оказался по ту сторону асфальтовой дороги, у края леса. Но был он отнесен не взрывной волной, а руками остарбайтеров. И много дней никто не принимался за восстановление забора, что было совсем не похоже на немцев.

С этим налетом совпало резкое похолодание. Температура опустилась до минус 6°, выпал снег. Такого при нас в Штутгарте еще не бывало. Снег с морозом стал дополнительным бедствием в разбомбленном городе. Когда рассвело, всех, кто был на заводе, заставили разбирать останки искореженного, сметенного взрывной волной цеха. На холодном ветру, под снегопадом работать было неуютно, но душу согревал вид застилающей полнеба завесы дыма над Штутгартом и горячий эрзац-кофе, которым угощали нас наравне с немцами. Это было нечто невиданное: немка у всех на глазах раздает кофе в бумажных стаканчиках иностранным рабочим и военнопленным французам! От бомбежки больше всего досталось жилым кварталам, хотя пострадали и промышленные предприятия. Излюбленным приемом бомбежек союзников был метод квадратов, или «ковра». Бомбардировщики прилетали мощными армадами, по двести-триста самолетов, и с большой высоты, недостижимой для зенитного огня, высыпали свои бомбы над определенным квадратом города, так что там практически ничего не оставалось. А чтобы затруднить спасательные и другие работы, сбрасывали десяток-другой бомб замедленного действия, которые взрывались неожиданно, по одной, через несколько часов или несколько суток.

Бомбежки стали подлинным кошмаром Германии. Немецкие газеты называли американских летчиков не иначе, как гангстерами, бомбящими не военные объекты, а лишающими жизни и крова мирное, ни в чем не повинное, гражданское население. При этом геббельсовская пропаганда, видимо, подразумевала, что массовое уничтожение ни в чем не повинных людей является исключительной привилегией немецкого вермахта и гестаповских людоедов в концлагерях, покрывших густой сетью Германию, Австрию и Польшу.

С весны 44-го года сирены воздушной тревоги завывали днем и ночью, по несколько раз в сутки, предприятия прекращали работу, весь персонал уходил в бомбоубежища. На всех предприятиях дежурили по ночам команды противовоздушной обороны, а у нас, на Верк-1, им в помощь на субботу и воскресенье назначалось по десять остарбайтеров, так как немцев для дежурств просто не хватало. Дежурить нам приходилось примерно раз в месяц. Для нас отвели большую, смежную с заводской проходной, комнату. Хорошо было ночевать вне лагеря, и просыпаться в понедельник на работу можно было значительно позже.

Раза два, когда наши дежурства совпадали, я встречал там своего «шефа» Глязера. Он являлся на дежурство, как на праздник, в лучшем своем костюме-тройке, темно-сером, в едва заметную полоску. В зубах у него была большая сигара (по будням он курил дешевые сигареты), а на животе поблескивала золотая цепочка карманных часов. У этого рабочего человека с умелыми мозолистыми руками, в совершенстве владевшего специальностями слесаря, кровельщика, жестянщика, сантехника, сварщика, кузнеца, человека неглупого, наделенного чувством юмора, была потешная слабость: он любил изобразить из себя этакого богатого господина с дорожными запонками, золотыми часами, пускающего в потолок кольца пахучего сигарного дыма.

После новогоднего налета американцы не бомбили Штутгарт до самого лета. Нам нередко приходилось наблюдать серебящиеся высоко в небе, словно стаи рыбок в аквариуме, плывущие в недосыгаемости зенитных разрывов воздушные армады. И каждый раз новые населенные пункты принимали на себя их уничтожающие удары.

Весной нас перевели в небольшой лагерь, принадлежащий исключительно нашей фирме, недалеко от Верк-II. Теперь нам разрешали ходить на работу вне строя. Вместе с нами в лагере поселили человек до сорока поляков, мужчин и женщин, привезенных в Германию из Варшавы после подавления знаменитого восстания. Поляки возмущались невмешательством Сталина, позволившего немцам утопить в крови и сжечь город, под стенами которого за рекой стояли советские войска. Неподалеку от лагеря немцы строили новое бомбоубежище, зарываясь в семидесятиметровую горку тремя параллельными штольнями. Горка была сплошь покрыта небольшими садами-виноградниками, обнесенными такими же сетками-заборами, как и наш небольшой лагерь. К концу лета штольни уже соединились коридором, вдоль которого тянулись длинные деревянные скамейки. Коридор неярко освещался электричеством.

А в одну из июньских ночей произошел последний налет на Штутгарт, самый мощный. Все началось с подвешенных самолетами осветительных бомб и пылающих в воздухе разными цветами тысяч фосфорных пластинок. Самолеты оказались над городом, когда еще не смолкли сирены воздушной тревоги, а жители не успели укрыться в бомбоубежищах. Особенно сильно досталось центральным районам города, превратившимся в сплошные руины, похоронившие под собой не менее десяти тысяч жителей. Город рушился и полыхал, а с неба градом сыпались все новые и новые бомбы. Все это ужасающе-грандиозное зрелище я наблюдал с территории нашего лагеря. В районе лагеря взорвалось десятка два бомб, были пробиты и взорваны проходящие под уличной мостовой канализацион-

ные тоннели. Земля уходила из-под ног, мне жутковато было стоять на открытом пространстве, озаренном, как днем, среди сотрясающих землю и воздух мощных взрывов. С любой точки зрения то, чем я занят был в этот момент у лагерных ворот, не делало чести ни моему благоразумию, ни здравому смыслу. Я весь оказался во власти эмоций: грудь мою распирала волна радости, подавившая все соображения, чувства и страхи. Конечно, с трехкилометрового расстояния я не мог видеть ни рушащихся кварталов, ни улиц, ни людей. Я мог только догадываться о масштабах разрушений и пожаров по величине и силе зарева, стоявшего над городом, и по мощности сотрясавших землю взрывов. О десяти тысячах погибших я узнал только утром, на заводе. Я не испытывал тотальной ненависти к немцам, не жаждал их крови или поголовного истребления всех немцев в ответ на гитлеровское «окончательное решение еврейского вопроса». Я не смог бы на полном ходу врезаться на танке в немецкий домик, не мог бы и пальцем тронуть немецкого ребенка, даже из тех, кто бросал в нас камешками, когда наша колонна двигалась по городу после работы. Дети оставались для меня просто детьми, достойными и любви, и жалости. Но во мне было достаточно ожесточения и ненависти чтобы пристрелить, не колеблясь, лагерфюрера Майера или эсэсовца Освальда, имевшего на заводе свой кабинет и курировавшего все вопросы, касающиеся военнопленных и восточных рабочих и некоторых других «сверхчеловеков», которых я уже не мог воспринимать как представителей рода человеческого. А число гибнущих на войне немцев я не воспринимал сердцем, а лишь как положительный показатель статистики.

Почему мою грудь распирало чувство удовлетворения, когда пылали и рушились немецкие города, отчего не сжималось сердце жалостью, когда я узнавал о гибели тысяч жителей этих городов? Видимо, потому, что в первую очередь во мне торжествовало чувство справедливого возмездия. Я полагал, что только так можно выбить из миллионов оболваненных и опьяненных угаром легких побед голов убежденность о правомерности войны, о праве высшей расы на господство в мире людей, на завоевания жизненного пространства, на жестокость и бесчеловечность по отношению к другим народам. Эти миллионы одурманенных преступной моралью должны были испытать на себе весь ужас войны, всю ее трагичность и недопустимость, бессмысленность и бесчеловечность, чтобы раз и навсегда отказаться от мысли об ее полезности или необходимости, от представления, что в ней нет ничего, с чем не могла бы мириться их совесть. Эти ковровые бомбежки как бы говорили каждому немцу: ты хотел войны — так получи ее на свою голову во всем ее великолепии и блеске.

А военным, пользовавшимся тактикой ковра, важно было, в первую очередь, с наименьшими для себя потерями поставить немцев на колени, заставить их психологически капитулировать еще до того, как капитулирует военно-политическая система нацистского государства.

Американцев не очень-то волновали соображения справедливости или возмездия. Мы убедились в этом впоследствии, когда наблюдали, как вела себя их военная администрация на оккупированной ими территории. В плену оказывались только немецкие солдаты и офицеры (да и то не все), а всевозможные фюреры, лейтеры, эсэсовцы, гестаповцы, мучившие и убивавшие, душившие и сжигавшие, разгуливали на свободе или прятались где-нибудь в неразбomбленных живописных уголках Германии, убрав подальше от людских глаз свои черные и коричневые мундиры со свастиками на рукавах и человеческими черепами в петлицах и на кокардах. Они боялись попадаться на глаза не чинам военной оккупационной администрации, а своим вчерашним жертвам, хорошо знавшим их подлинное звериное лицо. Они боялись нас, получивших свободу и еще не успевших покинуть Германию, тех, кто жаждал справедливого возмездия, и не «рано или поздно», а сейчас, сегодня!

Наиболее нетерпеливые и горячие головы организовали нечто вроде летучего отряда мстителей, выносивших смертный приговор тому или иному из лагерных эсэсовцев и приводивших его в исполнение. Подобные действия оккупационные власти никак не поощряли, и мстителям надо было проявлять максимум осмотрительности и изобретательности, чтобы себя не обнаружить.

Чтобы выманить из деревни, где он скрывался, лагерфюрера Майера, отравившего для маскировки бороду, ему сказали, что некоторым обитателям лагеря требуются справки об их проживании в лагере Шлетвизе и что такие справки без его подписи недействительны. Майер поверил и отправился в Штутгарт на приехавшей за ним машине. По дороге его пристрелили.

«Ваг дам, ваг дам, ваг дам!»

Наступал 1945 год. По всему было видно, что он станет последним годом этой кошмарной войны, и все-таки не верилось, что счастливый день ее окончания уже близок и что я до него доживу.

А ночь, которой год начинался, никак нельзя было назвать радостной или веселой. Вместе с годом 44-м кончался очередной голодный день и вечер в долгой цепи подобных дней и вечеров.

И все-таки многое изменилось, если не в нашей жизни, то вокруг нас. Красная армия была уже в Польше. Сотни немецких городов были превращены в груды развалин и совсем не походили на те безмятежные ухоженные города, которые мы наблюдали осенью 42-го года в приоткрытую дверь товарного вагона. За все это, конечно же, полагалось выпить в эту новогоднюю ночь. Мы не спали, время близилось к двенадцати, когда Андрей Михайлец объявил, что у него есть бутылка шнапса. Но не было никакой еды, закусить шнапс было нечем. Андрей не предупредил нас, чтобы мы не спешили проглотить свои пайки эрзац-хлеба. Почти все мы имели обыкновение съедать свою завтрашнюю пайку хлеба вместе со скучным ужином, потому что, во-первых, уж очень есть хотелось, а во-вторых, до следующего утра вполне можно было и не дожить, и тогда — не смешно ли? — пайка хлеба тебя переживет. Андрей и сам не знал, что раздобудет шнапс к вечеру. Он тоже съел свою завтрашнюю пайку хлеба перед тем, как собрался к немцу, которому еженедельно помогал гнать шнапс и у которого впервые получил за свои труды такой королевский подарок — бутылку шнапса в канун Нового года. (Немец гнал шнапс вполне легально и сдавал его куда-то за определенную плату.)

У кого-то из нас все-таки нашлась небольшая луковица. И когда время вплотную подошло к двенадцати, мы разделили поровну луковицу и шнапс и выпили за скорую победу и чтобы до нее дожить. Теперь об этом можно было уже всерьез помечтать.

Бутылка шнапса, оказавшаяся у Андрея, была, видимо, не единственной в лагере в эту ночь. Во всех бараках горел свет, такое послабление режима исходило от дежуривших в ту ночь вахманов — двух молодых швейцарцев, недавно нанятых фирмой. Вскоре после полуночи эти швейцарцы появились на пороге нашей комнаты, не закрыв за собой дверь, грубо нарушая тем самым правила светомаскировки. Были они изрядно под хмельком и пожаловали с самым добрым намерением: поздравить нас с Новым годом, для чего избрали очень простой способ — немудреную швейцарскую песенку, которая исполнялась под губную гармошку и смысл которой легко угадывался даже теми, кто не знал их языка:

Ваг дам муш ту нихт трурих зин,
 Ваг дам, ваг дам, ваг дам!
 (Из-за этого ты не должен печалиться,
 Из-за этого, из-за этого, из-за этого!)

Повторив песенку троекратно, они, в знак приветствия, сняли свои вахманские фуражки, поклонились и ушли. С этим новогодним поздравлением швейцарцы заходили в каждую комнату. Поведение вахманов нас при-

ятно ошеломило, при желании его можно было считать хорошим новогодним предзнаменованием. И мы уже пели у себя в комнате: «Ваг дам муш ту нихт трурих зин...»

Та ночь запомнилась мне на всю жизнь. И на всю жизнь запомнился разговор, который состоялся между Андреем и мной, когда почти все уже улеглись. Подсевши ко мне поближе, Андрей сказал: — А ты молодец, Лень, какой же ты молодец! — и при этом пристально и ласково поглядел мне в глаза. В словах его был такой многозначительный подтекст, что у меня не было ни малейших сомнений о тайном смысле сказанного.

Но в моих глазах он, видимо, ничего не прочел. Сказалась выработанная за годы привычка не выдавать себя даже взглядом. И Андрей добавил: — Ты меня понимаешь, Лень, понимаешь?!

Я не решился произнести вслух хоть самое короткое слово подтверждения, но теперь взгляд мой, видимо, что-то сказал ему. Андрей — тонкая душа — не дав затянуться паузе, нашел выход из трудного положения: — Если понял — дай пять! — торжественно заключил он, протянув мне руку. Рукопожатие выразило все, чего мы не могли сказать словами. В глазах у Андрея стояли слезы. Для меня это было великим мгновением и останется таким навсегда.

Накануне

После Нового года время побежало быстрее: все чаще приходили хорошие вести с фронтов, приближавшихся к нам с востока и с запада.

Но вместе с ними приближалась и очередная опасность: поговаривали о том, что немцы перед лицом наступающих советских войск перегоняют с востока на запад советских военнопленных и остарбайтеров. Говорили также, что эсэсовцы часто истребляют их, загоняя для этого во всевозможные шахты, тоннели и другие подземелья. Было, о чем задуматься.

Для меня время покатило быстрее еще и потому, что с лета 44-го мой шеф Глязер все чаще уводил меня с завода в город, где мы занимались ремонтом крыш, разного оборудования и сантехники. Необходимость в таких работах возникала, главным образом, в результате авианалетов. В качестве сантехников навевывались мы также периодически на кухню, где готовили пищу для военнопленных французов и для остарбайтеров фирмы «Бер».

Однажды мы даже побывали на вилле хозяина фирмы. Было это после той грандиозной бомбежки, когда в городе за ночь погибло десять тысяч человек. Вилла «Бер», расположенная на отшибе, в одном из лучших уголков города, не пострадала. Попасть сюда можно было в автомобиле, на ве-

лосипеде или минут за тридцать пешком от трамвая. Мы с Глязером добились пешком. Нам предстояло отремонтировать подъемный механизм, аналогичный механизму лифта, при помощи которого убиралась в подвал и возвращалась на место тяжелая остекленная стенка первого этажа размером 8×3 метра, отделявшая холл от открытой летней террасы, над которой широкой крышей нависали помещения второго этажа.

Большую часть рабочего времени мы провели в подвале, где, между прочим, обнаружили внушительный погреб выдержанных марочных вин в бутылках, сложенных штабелями и отгороженных решеткой, настолько частой, что извлечь оттуда бутылку было невозможно (напрасно Глязер пытался это сделать с помощью отверток). Справившись с подъемником, мы заглянули еще и в старый (трехэтажный старомодный) особняк виллы «Бер», находившийся рядом, и проверили в нем исправность сантехники на всех трех этажах, оказавшейся в полном порядке. В доме все блестело чистотой, хотя и не было никаких жильцов, ни прислуги, переместившихся в новое здание, неподалеку от которого, сидя в шезлонге, загорала на солнце хозяйка виллы, раздетая до купальника и окликнувшая нас, когда мы появились на гравийной дорожке в поле ее зрения. Она одарила моего шефа улыбкой и короткой беседой, и мне забавно было наблюдать, как старик из кожи вон лезет, чтоб понравится фрау Бер. Удостоенный беседы, Глязер весь день пребывал в приподнятом настроении, выражавшемся в чрезмерной болтливости и шутках, которые, главным образом, сводились к тому, как бы я поступил с молодой (она была мне ровесницей) фрау Бер, окажись она вдруг со мной наедине и без купальника.

Тем же летом мы с Глязером путешествовали в мебельном фургоне. Утром шефа куда-то вызвали, а возвратившись, он бросил все дела, приказал помыть руки, и я догадался, что мы собираемся в Штутгарт. Странно было, что на сей раз мы не взяли с собой никакого инструмента. Но я уже давно перестал удивляться, а вопросов вообще никогда не задавал. В городе, выйдя из трамвая, мы очень скоро оказались в одном из дворов и через служебный ход зашли в ресторан, где нас встретил толстячок лет сорока, видимо, хорошо знакомый Глязеру. Втроем мы уселись за столик в пустом с зашторенными окнами ресторане, где нам подали бутылку сухого красного вина и накормили супом и сосисками с картофельным пюре. Пили без тостов, под «прозит», а то, что оставалось в бутылке к концу обеда, было предложено допить мне одному. Я не отказался, стараясь поддержать сложившуюся о русских репутацию.

Когда мы вышли из ресторана, нас уже ожидал большой мебельный фургон. Немцы уселись в кабину, а я забрался в кузов. Минут через десять езды мы вышли у двухэтажного флигеля, толстячок проводил нас на вто-

рой этаж, откуда мы с Глязером погрузили в фургон мебельный гарнитур, оказавшийся весьма громоздким и тяжелым. Было ясно, что кто-то спасает свою мебель от бомбежек. Сидя в фургоне на диване, я не видел дороги, по которой мы ехали, а наблюдал лишь столбы и провода, мелькавшие в небольшом окошечке под самой крышей. Часа через полтора мы приехали в один из деревенских уголков Баварии. Особняк, в который мы занесли мебель, ничуть не уступал штутгартскому, и, должно быть, принадлежал литератору или ученому, такая там была библиотека.

Дни, проведенные подобным образом, мелькали быстрее, и время ускоряло свой бег. Вскоре после памятной новогодней ночи французы сообщили, что союзные войска взяли Страсбург, то есть вышли на границу Франции с Германией и находятся в ста километрах от Штутгарта. Но на преодоление этого расстояния им потребовалось еще более трех месяцев.

С конца февраля до нас все чаще докатывались отзвуки артиллерийского гула, а через месяц завод был практически остановлен, рабочих-немцев мобилизовали почти всех в *фольксштурм* (что-то на манер ополчения), а нас перестали кормить и выпускать из лагеря. На завод мы больше не ходили, но в апреле по утрам за нами стали приходиться военные и водить нас на строительство укреплений: город готовили к обороне и уличным боям. На работе нами командовали офицеры, заставляли все делать обстоятельно, учитывали каждую мелочь, и было ясно, что укрепления эти они готовят для своих же подразделений, стараясь сделать их понадежней и поудобней для себя. Мы на голодный желудок рыли окопы, таскали и укладывали камни и шпалы, работа отнимала последние силы.

Весть о смерти Рузвельта дошла до нас в теплый апрельский день, когда мы возводили укрепления в одном из многочисленных парков, раскинувшихся на высоком холме в районе Штутгарт-Фейербах. Сообщил нам об этом с великой радостью старший лейтенант, распоряжавшийся нами в тот день. Казалось, у него в связи со смертью американского президента появилась надежда на неожиданный поворот в ходе войны, но чуда, конечно, не произошло.

Через неделю нас перестали забирать на работу, и мы оказались запертыми в лагере, откуда даже не просматривались проходящая рядом улица и железнодорожное полотно. Только Павлик Бриллиант и Вася Шумилов продолжали работать на кухне, куда их по утрам увозил грузовичок (военнопленных французов продолжали кормить). Вечерами они возвращались из Фейербаха и делились с нами своими небогатыми наблюдениями. Город опустел, на улицах редко встречались прохожие, трамваи и поезда не ходили, даже военные не часто попадались на глаза.

Утром восемнадцатого апреля ворота лагеря неожиданно оказались открытыми настежь и без охраны. Над крышами города на бреющем полете проносились американские самолеты. Можно было рассмотреть лица летчиков, преимущественно чернокожих. Самолеты постреливали из бортовых пушек, изредка сбрасывали бомбы на железную дорогу.

Охрану лагеря символически представлял самый старший по возрасту из вахманов, крепкий, высокий и широкоплечий старик, никогда не носивший форменной одежды, но, по всем признакам, профессиональный полицейский. Вахман предложил всем переселиться из лагеря в бомбоубежище, недавно вырытое в горе. Мы решили выполнить распоряжение вахмана лишь наполовину: лагерь покинуть, но расположиться не в бомбоубежище, а на просторной площадке перед ним. Был теплый солнечный день. К бомбоубежищу потянулась пестрая процессия обитателей лагеря. Никто не опасался пролетающих над нами американцев.

По дороге в бомбоубежище я обратил внимание на железнодорожную насыпь, находившуюся по другую сторону улицы. Здесь не более десяти дней назад мы строили хорошо замаскированную огневую точку. Сейчас там не было видно ни одного солдата и никакой техники. Вполне можно было предположить, что немцы отказались от обороны города, что уличных боев не будет. Возможно, в городе даже не было сколько-нибудь значительного количества войск. Лишь изредка по дороге вдоль насыпи проносились военные авто, преимущественно легковые, на передних крыльях или на капоте которых располагался солдат с автоматом или ручным пулеметом, ведя наблюдение за «воздухом». Опасений, что вдруг появятся вооруженные эсэсовцы, загонят нас в бомбоубежище и уничтожат, с каждым часом становилось все меньше. Взоры наши были обращены на дорогу, но американцы так и не появились. Ворота лагеря весь день оставались открытыми настежь.

Мы с Иваном твердо решили ночевать в лагере, на своих постелях, а не коротать ночь в бомбоубежище или под открытым небом на траве. Когда мы оказались в своей комнате, дверь открылась, и вошел вахман, тот самый. Видимо, он так и не сменялся с самого утра. Он встал у стола, и фигура его освещалась сзади из незакрытых ставнями двух окон: на дворе было еще светло. Мы не сомневались, что рука его сжимает в кармане пистолет. Он спросил, что нам здесь надо. Мы спокойно ответили, что будем ложиться спать. Как бы, в подтверждение наших слов, захлопали двери других комнат. Люди возвращались в лагерь на ночлег. На улице совсем стемнело, ставни были закрыты, включен свет. Мне не спалось и не сиделось. Я вышел во двор. В полном одиночестве и тишине я прошел до ворот. Их никто так и не закрыл. Меня неудержимо тянуло на улицу. За полмину-

ты я преодолел тропинку в траве и оказался на уличном асфальте. И тут затрещали две автоматные очереди, и просвистело несколько пуль. Я оказался под прикрытием ствола огромного ясеня, росшего у самого асфальта. Выстрелы повторились — пули просвистели снова. Не желая наткнуться на шальную пулю, я вернулся в лагерь.

Шум и смех в соседней комнате привлек наше внимание. Оказалось, это возвратился из «разведки» Вася Цвинтарный. Его рейд из ворот в противоположном конце лагеря был более удачным, чем мой. Он побывал в немецкой казарме, которую уже заняли американские солдаты. Красноречивым подтверждением его рассказа был кусок полученной от американцев колбасы, которой он уже успел с кем-то поделиться. Голодные и счастливые, мы уснули только перед рассветом 19 апреля 1945 года, Дня нашего Освобождения.

Десять суток свободы

На утро я отправился в Штутгарт-Фейербах. Мне не терпелось своими глазами увидеть первый день свободы в городе. Минут через двадцать я был уже на улице, где располагались большие магазины. По дороге я не встретил ни одного человека, хотя было около девяти утра. И еще меня поразила свежая зелень травы. Впервые за два с половиной года в Штутгарте я *увидел* траву.

Все магазины были закрыты, витрины — пусты. Я свернул в первую улицу налево. В сотне метров впереди, у тротуара, загораживая половину неширокой дороги, стоял бронетранспортер с белыми пятиконечными звездами на броне. Такую машину я видел впервые, не знал ее названия, она была наглухо задрасна и казалась предметом, забытым здесь инопланетянами. Машина привлекла внимание еще двух любопытных, непонятно откуда возникших на улице. Сосредотачивающихся возле нереального предмета и ожидающих событий становилось все больше, некоторые постукивали по глухой броне костяшками пальцев. Нужно ли говорить, что среди нас не было ни одного немца? На безлюдной улице мы выглядели уже как толпа, когда появился вооруженный французский сержант. Меня удивила выструганная из дерева граната, которую он держал в руке. Громким восклицанием сержант приветствовал нас и тут же запустил деревянной гранатой в пустую витрину булочной.

Наша голодная толпа ворвалась в магазин, перед нами тут же возник перепуганный хозяин, быстро открывший застекленную дверь, чтобы и она не пострадала от запуска гранаты. Немец клялся и божился, что хлеба в булочной нет уже третий день. Посещение другого и третьего магазинов

привели к тому же результату. Только хозяева открывали двери до того, как была пущена граната. Наконец в одном из продовольственных магазинов удалось кое-чем поживиться. Мне достался полотняный кулек крупы с витрины. Ужасно хотелось есть, и я понес крупу в лагерь, чтобы сварить кашу.

А там уже успели разобрать из кладовой пищеблока хлеб. Ивану досталось несколько буханок. Когда я принялся за хлеб, кто-то увидел в окне человека, несущего на плече половину свиной туши. Оказалось, что совсем рядом французские солдаты, охранявшие холодильник, раздают русским свинину по полтуши на брата. Вскоре мы все уплетали свинину, очень вкусную и сытную.

Пьянящий ветер свободы кружил мне голову и гнал из-за осточертевшей лагерной проволоки. По улице уже двигались американские войска на автомобилях, больших и малых. Огромные открытые фургоны везли немецких военнопленных. С бешеной скоростью проносились «студебеккеры», «джипы» и «виллисы». Среди американцев поражало большое количество негров. Я шагал к центру Штутгарта, но туда так и не попал, потому что внимание мое привлек железнодорожный пакгауз с небольшой дверью в верхнем углу громадной глухой стены, куда вела прямая металлическая лестница. У входа на лестницу стоял американский солдат в каске с широкой белой полосой. По мере того, как выходили из дверей и спускались по крутой лестнице люди, груженные какой-то ношей, солдат пропускал желающих проникнуть в заветную дверь. Через несколько минут я тоже проник внутрь пакгауза, который оказался ничем иным, как винным складом, где, кроме больших стеллажей с лежащими на них бутылками вина, были еще и огромные бочки в нижнем помещении, куда я спустился было и откуда поскорей унес ноги, потому что там ходили по щиколотку в вине, а кто-то уже лежал на полу. Вернувшись к стеллажам, я положил в мешок столько бутылок разных размеров и конфигурации, сколько мог унести.

На обратном пути я отдыхал несколько раз, но ни от одной из бутылок не освободился. Помогли мне это сделать два французских солдата, заинтересовавшихся содержимым моего мешка. Выяснив, кто я такой, они стали пожимать мне руку, поздравлять с освобождением и благодарить за вино. Они же сообщили, что Штутгарт заняла 1-я французская армия при поддержке американцев и что городом распоряжается французский комендант. Теперь стало понятно, почему утром бил витрины деревянной гранатой француз.

В лагере мое вино ожидаемого впечатления не произвело, так как в углу у дверей уже стояла сорокалитровая бутылка спирта, настоящего на лимо-

нах, а за столом — ни одного трезвого человека. Через несколько минут я уже не отличался в этом смысле от всех остальных.

С этого памятного дня ни за едой, ни за питьем мы больше никуда не ходили. И я не мог толком понять, откуда появляется все это в изобилии на столах, за которыми ни днем, ни ночью не прерывался пир, не смолкали бесконечные разговоры и песни. Кто-то сидел за столом, кто-то спал, кого-то иногда приходилось укладывать, а проснувшийся присоединялся к компании, бодрствующей в любое время суток при закрытых ставнях и свете электричества, так что никогда нельзя было определить: утро сейчас или вечер, день или ночь. Проснувшись в очередной раз, я почему-то захотел узнать, какое сегодня число и время суток. Из сидевших за столом никто не смог удовлетворить моего любопытства.

Я вышел из барака. На дворе был прекрасный солнечный день. У каждого, кто попадался мне на глаза, я спрашивал, какое сегодня число. Некоторые отвечали неуверенно, иные, как и я, не имели об этом никакого понятия. Наконец, удалось установить: сегодня 29 апреля. Прошло десять суток свободы. Вернувшись в комнату, я отказался садиться за стол, мотивируя свой отказ почему-то тем, что послезавтра — Первое мая. Речь моя не произвела впечатления на сидевших. У меня же возникла идея отпраздновать Первое мая, хотя как это осуществить, я не очень-то себе представлял.

С флагом и с песнями

Взор мой наткнулся на стоявшую между торцом барака и забором грузовую автомашину. Выяснилось, что на ней уже вторую неделю возят продовольствие, которым нас аккуратно снабжают оккупационные власти, и что большую часть дня грузовик простаивает. Идея сразу же получила развитие: набрать полный кузов желающих, на дверцах кабины нарисовать красной краской пятиконечную звезду и буквы СССР и проехать с флагом и с песнями по улицам города. Оставалось только раздобыть немного красной краски на ацетоновом растворителе, кусок картона для изготовления трафарета, чтоб нанести опознавательные знаки на дверцы автомобиля и придумать из чего сделать красное знамя. С помощью двух-трех, пожелавших участвовать в праздновании Первого мая, мне удалось все это подготовить к десяти утра праздничного дня. Даже водителя машины не пришлось уговаривать, а опознавательные знаки, начиная с изготовления трафарета, я нарисовал собственноручно.

Выезд был назначен на десять утра без предварительной записи желающих.

Когда утром мы собрались у машины, нас оказалось не более десяти человек. Решили никого не собирать и не ждать. Выехали ровно в десять. По мере приближения к центру на улицах стали попадаться редкие прохожие, на перекрестках стояли американские солдаты-регулирующие в касках с белой полосой и буквами «MP». Все они приветствовали нашу импровизированную демонстрацию, улыбались, махали руками, а некоторые даже отдавали честь.

После прошлогодней летней бомбежки я не бывал в центре города и не знал, что целые его кварталы превращены в сплошные развалины с зияющими окнами немногих уцелевших каркасов домов. Это произвело на нас угнетающее впечатление, хотя мы что-то выкрикивали, пели...

Когда в начале двенадцатого мы возвратились в лагерь, возле машины собралось такое количество желающих проехать с красным знаменем по улицам Штутгарта, что в кузове поместились далеко не все. Решено было, что машина будет возвращаться в лагерь каждый час, и рейсы продолжались почти до вечера. Несмотря на все, что мы пережили, мы все же оставались советскими людьми.

Ночь Победы

А 8 мая мой земляк авиатор Женя раздобыл где-то радиоприемник, и мы с ним немедленно занялись сооружением антенны на крыше барака. Лично я не слушал радио с лета 1941 года. Если не считать тех нескольких раз, когда мне приходилось слышать марши и обрывки немецкого дикторского текста из радиоприемника на проходной Верк-1. Это бывало по некоторым субботам или воскресеньям, когда мы, остарбайтеры, привлекались к дежурству по противоздушной обороне. Дверь из комнаты, где мы помещались, выходила прямо в проходную завода, на одной из стен которой висел большой портрет Гитлера в костюме штурмовика, а за перпендикулярной к ней остекленной в верхней части перегородкой всегда сидел дежурный по проходной. Там же находился постоянно включенный радиоприемник, который мы могли слушать, находясь на дежурстве.

Но вернемся к нашему радиоприемнику. Первое сообщение, которое мы услышали, звучало на русском языке. Мы даже решили, что слушаем Москву, но это была радиостанция «Свободная Европа» из Люксембурга. Диктор сообщал, что сегодня, 8 мая, в 23 часа в Берлине будет подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Я впервые услышал фамилии Де-Латра и Де-Тасиньи, Эйзенхауэра, Монтгомери, а также многих советских генералов и маршалов, о которых не имел ни малейшего представления. Я был доволен, что приемник появился именно в этот день,

когда считанные часы отделяли человечество от долгожданного мира: сегодня гитлеровские генералы, пролившие моря крови и слез сотен миллионов людей, признают себя поверженными. А я все-таки дожил до этого дня и знаю, что все оставшиеся у меня впереди дни или годы, как бы мало или много их ни было, буду считать бесценным подарком судьбы. Я не обольщался насчет своего будущего, смутно ожидая ударов судьбы, не знал еще, живы ли мои родные и что ждет меня на Родине. Но в тот вечер будущее представлялось светлым, прекрасным.

Затем из многоголосия непонятной речи, музыки и шумов выкристаллизовался и голос Москвы, которая подтвердила сообщения европейских радиостанций. Было только непонятно, почему Москва, сообщая о подписании акта о капитуляции, называет другую дату: 9 мая. Потом сообразили, что когда в Берлине будет 23 часа, в Москве уже наступят новые сутки.

Я уже улегся спать, когда ночную тишину над городом взорвали залпы из всех видов оружия. Выбежав во двор, мы увидели и услышали, как гарнизон в Штутгарте устроил грандиозный салют из всего, что способно стрелять, в честь Победы над Германией. В темное небо взлетали ракеты и тысячи разноцветных траекторий трассирующих пуль. Сами звезды показались мне простреленными только что из автоматов и ракетниц, а свет их вдруг расплылся у меня в глазах. Я и не пытался сдерживать слезы, они, никем не видимые, текли у меня по щекам в ночь Победы. Да и никому не было до меня дела: все смотрели в небо, где бушевал вихрь торжества и радости, и никому не казалось странным, что тысячи взлетов человеческой радости образованы в небе теми же пулями, назначение которых сеять смерть.

«В этом повинны вы все»

Сразу после праздника мне предложили работу. В Штутгарте был создан Центр по репатриации советских граждан. Руководили Центром четверо бывших военнопленных офицеров. В начале 45-го они работали в Штутгарте-Цуффенгаузене на предприятии «Порше», принадлежавшем известному немецкому автоконструктору. Предприятие было небольшим, но важным: там конструировались и изготовлялись первые образцы автомобилей, в том числе и для армии. Режим его был секретным, поэтому служба безопасности СС решила на всякий случай расстрелять наших пленных офицеров до вторжения в город войск союзников. Этому помешал главный инженер завода, устроивший им побег из-под самого носа эсэсовцев и рисковавший при этом собственной жизнью. Бежавшие офицеры благополучно добрались до Парижа, разыскали там резиденцию генерала Голикова, занимавшегося репатриацией советских граждан, гене-

рал восстановить беглецов в их офицерских званиях, выдал им табельное оружие, обмундирование, снабдил всеми необходимыми документами и полномочиями и приказал вернуться в уже освобожденный Штутгарт, организовать там репатриационный Центр и возглавить его работу.

У новоиспеченного Центра сразу же возникли транспортные проблемы: необходимо было свозить в Штутгарт военнопленных и остарбайтеров со всех прилегающих к городу территорий, развозить продукты питания по штутгартским лагерям и пр. Поэтому Центр организовал на базе того же завода «Порше» «Советский авторемонтный завод», где ремонтировались брошенные на дорогах автомобили. Вот на этом заводе я и стал работать. Пригласил меня туда инженер Виноградов из нашей компании. Ему Центр доверил руководство заводом. Он и поручил мне наносить наши опознавательные знаки на автомашины Центра по образцу, которым был снабжен грузовик на первомайской демонстрации. Эмблема его вполне устраивала, а меня снабдили всем необходимым для быстрой работы. Вскоре начальником завода был назначен доселе мне неизвестный лейтенант Роговой из военнопленных.

На первых порах штат завода был невелик: человек пять-шесть шоферов, столько же автослесарей, три девушки для работы на кухне и в столовой и завхоз — снабженец Саша Похителюк, приглашенный на работу из нашего же лагеря дня на три раньше меня. Вскоре мне поручили заняться делопроизводством и помогать Саше в руководстве пищеблоком и снабжении продуктами, поскольку количество работников у нас увеличилось втрое, а делопроизводства было все равно немного. Опознавательные знаки пришлось штамповать кому-то другому.

Трудились мы все добровольно и бесплатно, хорошо и добросовестно. Все мы жили и кормились на заводе, где был великолепный пищеблок: полностью электрифицированная кухня, соединяющаяся с большим, светлым и нарядным залом-столовой, и погреб для мясных продуктов. Американское интендантство выдавало нам, бывшим военнопленным, продовольственный рацион, такой же, как и своим военнослужащим. Сюда входили всевозможные мясные консервы (свинина, говядина, курятина), консервированные супы, бульоны, овощи, сухое молоко и яичный порошок, засахаренные фрукты, шоколад, кофе, лимонный сок, консервированная колбаса и фарши, бекон, варенья, джемы, пудинги, масло, сахар, белый хлеб, сигареты «Кэмел» и пр. Кроме того, заводское начальство снабжало нашего завхоза Сашу Похителюка наличными марками, и он периодически покупал хорошо откормленного бычка, которого доставлял к мяснику-колбаснику в Штутгарте, а тот бычка забивал и возвращал нам в виде свежего мяса, вареной колбасы и прочего. У входа в столовую

стоял бочонок холодного безалкогольного эрзац-пива, прекрасно утолявшего жажду. К ужину в разумных количествах подавалось сухое красное вино в графинах. Этим вином нас регулярно снабжала французская комендатура.

Времена круто изменились: теперь немцы сидели на голодном пайке. И я решил сделать сюрприз Глязеру, который иногда поддерживал меня куском хлеба, парой поношенной обуви и закрывал глаза на то, что я ремонтирую ее в мастерской и в рабочее время, используя для этого кусочки приводных ремней или резиновых шлангов. Получив вместе с Похителюком в очередной раз продукцию у мясника, я попросил шофера остановиться у дома, где жил Глязер, и отнес ему на 4-й этаж кусок вареной колбасы и килограмма три мяса. Немец был потрясен такой лавиной обрушившихся на него продуктов. Потом он еще приходил ко мне за крупой, которая осталась у меня со дня освобождения. Я так и не успел сварить из нее каши.

В июле французскую администрацию в Штутгарте сменили американцы. Это, видимо, было связано с упорядочением и разграничением зон оккупации. Наше благополучие от этого не пострадало, разве что прекратилось регулярное снабжение вином. Впрочем, французы, уходя, не забыли довести наши запасы до пятисот литров. Американцы полностью взяли на себя автообслуживание Центра, так что задачи нашего автопредприятия были сведены к минимуму, но работы хватало, потому что завод должен был собрать и отправить своим ходом в Париж более десятка первых образцов «фольксвагена», изготовленных, но не собранных еще до падения власти нацистов. Теперь эти автомобили собирали для отправки в ставку генерала Голикова согласно обещанию руководства Центра по репатриации, сроки начала которой быстро приближались.

Центр находился на территории репатриационного лагеря (казарм), у ворот которого американцы поставили для охраны своих солдат, несколько, причем, не стеснявших свободы репатриантов, ожидавших скорого отъезда домой.

В Центр начали навещаться американские офицеры. Одним из поводов для таких посещений стали участвовавшие случаи гибели бывших эсэсовцев, лагерфюреров и прочих нацистских изуверов, которых американцы не трогали, будто их никогда и не было, и нет. А нам хотелось возмездия сейчас, сегодня, мы желали его увидеть собственными глазами. Сколько-нибудь ясной версии убийств этих отдельно взятых немцев у американских властей не было, кроме мести «русских» за то, что над ними здесь совсем недавно творили. А руководство нашего Центра искусно уклонялось от оказания помощи в расследовании этих убийств.

Единственным заметным шагом американской администрации, показывавшим ее отношение к недавнему прошлому, были большие плакаты, обращенные к немецкому народу и озаглавленные примерно так: «В этом повинны вы все». На плакатах, изготовленных весьма небрежно, были помещены нечеткие фотографии и тексты, повествующие о лагерях смерти и их миллионных жертвах. Приезжали американцы и в связи с приближающимся началом репатриации. Близился день, когда станет, наконец, возможной доставка по железной дороге репатриантов в советскую зону оккупации Германии.

И вот настало утро отправки первого эшелона. Происходило это весьма торжественно и празднично. В назначенный час, минута в минуту, на глазах у разодетой во все цвета радуги толпы, собравшейся на лагерной площади у ворот, в лагерь въехали один за другим более двух десятков надраенных до блеска новеньких грузовиков. Приготовившиеся к отъезду люди, не торопясь, грузили в машины свои сумки и чемоданы, а сами удобнее рассаживались на откидных скамейках вдоль бортов. Прощальные возгласы, поцелуи, краткая речь начальника Центра, — и грузовики под звуки духового оркестра отправляются к ожидавшему на станции железнодорожному составу.

А наш завод, до которого американцам, в общем-то, не было никакого дела, собирал первый десяток образцов «фольксвагена», новой марки немецкого автомобиля, сконструированной на заводе «Порше» его главным конструктором и хозяином. Руководил работой бывший главный инженер завода, тот самый, который устроил побег нашим пленным офицерам. Чтобы ускорить дело, он предложил пригласить ранее работавших на заводе четырех высококлассных специалистов-немцев. Им стали платить зарплату и кормить в заводской столовой. Дело пошло вдвое быстрее, а немцы были довольны и очень старались. Когда их в обеденный перерыв усадили за отдельный столик, они попросили разрешения сесть за общий стол «с русскими коллегами и товарищами по классу». Просьбу удовлетворили.

Главный инженер был невысоким симпатичным стариком лет семидесяти. Однажды в воскресный день он повел меня по заводу, чтобы показать свое предприятие. Особой гордостью немца было его детище: отлично оснащенное и оборудованное конструкторское бюро. Показывал он мне все это не хвастовства ради, а чтобы внушить мысль: Германия — не только государство извергов и коричневой чумы, но и культурная, цивилизованная страна, земля талантливого и трудолюбивого народа, обманутого и оказавшегося в преступных руках. Он тактично намекал, что и моя родина оказалась в подобных же руках, и он не хотел бы, чтобы в наших сердцах оставалась только ненависть к немцам и чтобы слова *немец* и *нацист*

были для нас синонимами. Он так и сказал мне об этом во время нашей экскурсии.

В июне пришел к нам работать Дмитрий Маркелович Брицкий, классный автомеханик и симпатичный человек и собеседник. В начале войны он был личным шофером академика Богомольца, президента АН УССР. Кто-то серьезно занимался качественным пополнением наших кадров, потому что вскоре появился на заводе и бывший начальник Брицкого Григорий Ефимович Кохан. Встреча друзей-коллег была теплой и радостной, хотя и не стала для них полной неожиданностью: их пути уже пересеклись намного раньше в одном из лагерей военнопленных. Кохан, скрывавший свою национальность, хоть и не верил, что Брицкий может его выдать (оба были еще и коммунистами), сделал так, чтобы они «случайно» потеряли друг друга из виду. Все-таки он изрядно насмотрелся, как будто бы порядочные люди выдают немцам евреев. При встрече на заводе Кохан смущенно объяснял свое обидное для Брицкого поведение весьма правдоподобно, но видно было, что друга эти объяснения не убедили. И все-таки Брицкий простил Кохана, учитывая жестокость обстоятельств и радость встречи.

В те июльские дни 45-го стали изредка приезжать на завод из советской зоны старшие офицеры Красной Армии. Один полковник приехал, чтобы забрать ящик с технической документацией, собранной Виноградовым на заводе и, видимо, представлявшей определенную ценность для наших автомобилистов; другой полковник — чтобы получить отремонтированный для него автомобиль, принадлежавший ранее недоброй памяти генералу Власову и найденный водителями Центра недалеко от Штутгарта. Автомобиль после ремонта блеснул, как игрушка. Держались полковники официально и отстраненно, как инопланетяне, и всегда смотрели мимо нас, будто мы не существуем вовсе. Недели за две до моей репатриации состоялась отправка в Париж первой пятерки собранных «Фольксвагенов». Колонну сопровождал микроавтобус, ибо водителям вместе с возглавлявшим колонну Д.М. Брицким надлежало вернуться на завод. С ними поехал и Саша Похителюк (посмотреть Париж), а на следующий раз обещали взять меня. Съездили благополучно, без приключений, возвратились с девушкой-француженкой. Ее привез с собой Брицкий до следующего рейса, которого я так и не дождался: очень хотелось узнать, остался хоть кто-нибудь в живых из моих родных. 5-го августа я уехал из Штутгарта в советскую зону оккупации Германии.

Короткий и яркий период моей жизни с момента освобождения до дня репатриации оставил в моей памяти еще один эпизод, о котором я не могу не рассказать поподробней. Это было путешествие с приключениями.

Путешествие с приключениями

Есть на юго-западе Германии небольшой университетский городок Тюбинген. Вряд ли я узнал бы о его существовании, если бы в находившийся там госпиталь не угодил в результате автомобильной аварии Андрей Михайлец, тот самый, который угостил нас шнапсом и с которым произошел у нас незабываемый разговор в новогоднюю ночь. У Андрея было три серьезных перелома и сотрясение мозга. Я решил непременно его проведать, но среди наших шоферов не оказалось никого, кто знал Андрея, а нужно было уговорить кого-нибудь из них совершить ничем не интересную поездку по незнакомой дороге в воскресный день на расстояние более ста километров в один конец. Такой добрый человек нашелся, память моя не удержала его имени. Помню только, что воёвал он под Ржевом и был из тех мест. Узнав о причине и цели поездки, он согласился сразу, без всяких уговоров. День был погожий, жаркий, решили ехать в «БМВ» старого выпуска, с убирающимся верхом. Набрали побольше еды, хотя и собирались к вечеру вернуться. По пути прихватили с собой Ивана Доронина.

Дорога живописная, настроение безмятежное. Часа через полтора оказался в долине старинный городок Тюбинген. Поубавили скорость, въехали в город. Не успели мы проехать по нему и километра, как из боковой улицы выскочил на полном ходу роскошный зеленый автомобиль. Пытаясь избежать столкновения, наш водитель свернул на тротуар и, тормозя, зацепил колесом фонарный столб и сломал себе руку, стараясь удержать руль. Зеленое великолепие затормозило, успев пересечь улицу перед нами. Из него вышли французский майор и дама. Еще через минуту неизвестно откуда появились два высоких красавца в форме французской военной жандармерии. Убедившись, что мы в надежных руках, виновник аварии и его спутница умчались на своем зеленом чуде техники.

Если в результате столкновения чугунный фонарный столб ничуть не пострадал, то у нашего «БМВ» были повреждены бампер, правое переднее крыло и частично рулевое управление. Но машина слушалась руля. Все это с нашей помощью весьма оперативно установили жандармы, не менее оперативно вскочили на подножки нашего авто и приказали ехать по указываемому ими пути. Через две-три минуты мы подъехали к нарядному двухэтажному особняку — резиденции французской жандармерии. Прежде всего стало ясно, что шоферу, у которого распухла и болела рука, требуется медицинская помощь. Выяснилось также, что майор в зеленом авто был никто иной, как начальник местного гарнизона (вот почему с такой прытью действовали жандармы!). Выяснилось также, что мы — русские, а вовсе не немцы, и приехали в Тюбинген проведать в госпитале друга, и это

сразу изменило к нам отношение жандармов, которые заулыбались, а сержант, нами занимавшийся, в смущении сообщил, что майор мечет громы и молнии и потому они не могут нас отпустить сразу, а лишь завтра, после соблюдения необходимых формальностей. Впрочем, мы можем свободно передвигаться по Тюбингену, поспешил добавить сержант, только пешком.

Когда мы с Иваном появились в палате хирургического отделения, Андрей оторопел от неожиданности, а затем на глаза его навернулись слезы. Незаметно промелькнуло часа полтора, мы успели пообщаться с приятелем, а также познакомиться с санитарями-вьетнамцами — солдатами французской армии. До тех пор мы не имели представления об этом народе.

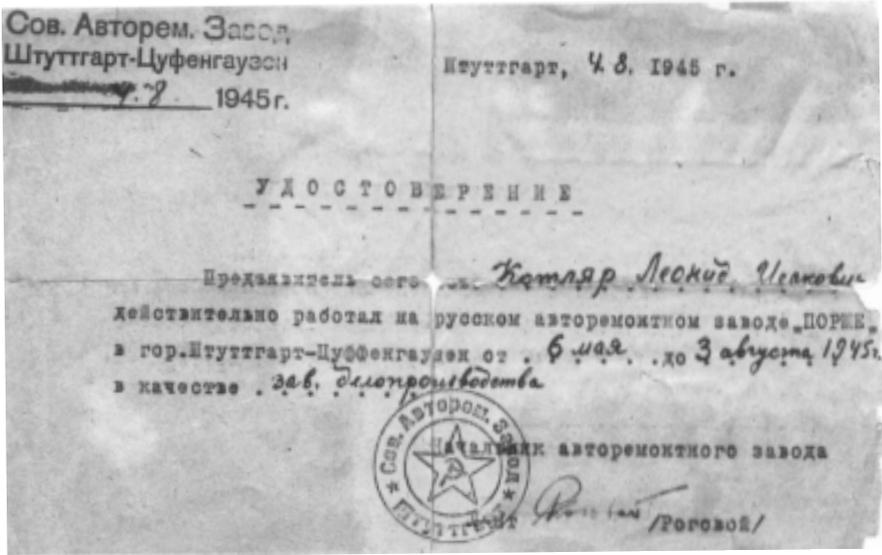
Во дворе госпиталя нас дожидался шофер с уже загипсованной рукой. Рука у него болела, но он не унывал, уверяя, что сам поведет машину в Штутгарт, когда нас отпустят.

Когда мы вернулись в жандармерию, нас пригласили на обед за празднично накрытый воскресный стол, где собралось более двадцати человек военных разных званий. Тем самым французы старались заглазить незаконность того, как поступает с нами майор: ведь мы ничего противоправного не совершили, а вынуждены дожидаться следователя по транспортным делам до завтра, потому что в воскресенье — выходной.

Ночевали мы на диванах в общем зале, а до вечера наблюдали, как являлись в жандармерию вызванные повестками немцы. Иных приводили под конвоем. В руках у них были сумки или баулы, в которых, видимо, находилось то, что человек берет с собой из дому при аресте. Было ясно, что прибывают они сюда на допрос, а потом их куда-то отправляют, а некоторых отпускают. Можно было предположить, что французы, не в пример американцам, активно интересуются преступлениями вчерашних нацистов.

Впрочем, мы успели убедиться в этом еще в Штутгарте сразу после освобождения. Как-то французы привезли в лагерь одного нашего вахмана, которому в свое время нравилось показывать над нами свою власть всевозможными издевательствами и рукоприкладством. Его случайно опознал в городе кто-то из наших товарищей. Расправа была быстрой: вахмана увезли избитого, но живого.

В понедельник мы явились к следователю. Им оказалась женщина лет тридцати, с легким акцентом свободно говорившая по-русски. Она была дочерью русского офицера-эмигранта. Выяснить обстоятельства дела не составило особого труда: они были очевидны, так как майор просто нарушил правила движения, а пострадавшими оказались только мы. Но отпустить нас француженка не могла, не позвонив предварительно майору. Майор занял бескомпромиссную позицию. Потому нас надо было допро-



Справка о работе после освобождения из лагеря. 1945 г.

ситель и составить протокол по всей форме. Выполнить в данных обстоятельствах это мог только человек, одинаково хорошо владеющий и русским, и французским, и такая женщина следовательно была нам послана самим Богом. Ей было не просто отстоять перед начальником гарнизона справедливую точку зрения, и все-таки сделать это она сумела.

Через полчаса мы уже ехали по той же улице мимо того же фонарного столба, но в обратном направлении. Шофер не брюзжал, не ныл, а даже посмеивался и шутил, хотя рука у него болела, а машина плохо слушалась руля. Домой мы возвратились без всякий приключений.

С тех пор я больше не видел Андрея и ничего о нем не знаю. Я писал ему по адресу, который он мне оставил, но ответа не получил, и письма мои не вернулись. В середине июля четвертым или пятым эшеленом уехал из Штутгарта Иван Доронин. Мы нежно с ним простились, обменялись домашними адресами, хотя я и не был уверен, что по этому адресу он меня найдет. А еще он передал мне свой пистолет «ТТ», который ему удалось, не знаю где, раздобыть. Пистолетом тогда обзавелся не он один, но в дело не пускал почти никто. Не воспользовался им и я и передал перед своим отъездом Саше Похителюку. Везти же с собой оружие в нашу зону, конечно же, не следовало.

Репатриация

7 августа 1945 года эшелон прибыл в советскую зону оккупации, на станцию Галле.

Всех прибывших мужчин сразу же построили у самой железнодорожной колеи. К нам обратился полковник, произнесший всего две фразы: в первой содержалось поздравление с возвращением, а во второй предложение сдать оружие, если оно у кого-либо имеется. Оружия не имелось ни у кого, но полковник в этом сомневался и снова предложил сдать оружие. Прошло несколько минут напряженного молчания. Полковник поинтересовался, будем ли мы сдавать оружие, или так и будем стоять и думать. Церемония встречи явно затягивалась, а всем стало ясно, что теперь уже никак нельзя признаваться и сдавать оружие, если это не было сделано с самого начала. Так и не дождавшись от нас оружия, полковник удалился. Явился старший лейтенант и через весь город провел нас на асфальтированную трассу, по которой через несколько часов пути в пешем строю мы достигли аэродрома близ города Цербст, где располагался фильтрационный лагерь. Здесь предстояло пройти фильтр-проверку армейской контрразведкой, по результатам которой одни получают почетное право продолжить службу в Красной Армии, а другие окажутся где-нибудь за колючей проволокой.

Порядок в лагере был военный, личный состав был организован поротно и повзводно. Командиром роты стал старший лейтенант, который привел нас в лагерь, а командиры взводов и отделений были назначены из числа репатриантов. Свободного времени у нас было предостаточно, хотя проводились и занятия, главным образом, по строевой подготовке. В эти дни мы узнали об атомной бомбардировке японских городов, а, главное, — о существовании атомной бомбы, термоядерного взрыва.

Допроса я ожидал с каким-то нетерпением, наивная вера в торжество справедливости оставалась во мне вопреки всему. Скрывать мне было нечего.

В палатке за столом сидел капитан средних лет. Он смотрел на меня умными, понимающими глазами, и у меня сразу же пропало ощущение допроса. Казалось, я просто рассказываю о себе человеку, которому все это очень интересно. Он предложил мне коротко рассказать о своей службе в армии с того момента, как я был призван 8 декабря 1940-го года, и до того как я попал в плен. И я рассказал, что служба моя началась в Риге, куда я прибыл с призывниками эшелонном, следовавшим из Киева, что в январе нашу воинскую часть № 2268 перевели в Паневежис (Литва), что это был учебный артиллерийский полк, что из этого полка затем выделилась в/ч

№ 9915, но это произошло, когда я находился в госпитале, потому что в марте на ночных занятиях провалился в ледяную воду и заболел воспалением легких. Выйдя из госпиталя в конце апреля, я с трудом разыскал свой новый артиллерийский полк /9915/ в Елгаве (Латвия). Оттуда меня досрочно уволили в запас второй категории по заключению комиссии, которую я прошел в госпитале (г. Шауляй, Литва).

12 мая 1941 года я уехал из Елгавы через Ригу и Белоруссию в Киев. Диагнозом, по которому меня комиссовали, был туберкулез, очаговый, в неактивной фазе, к которому у меня была предрасположенность еще с детства. 18 мая я приехал домой, а через два дня уже работал воспитателем в детском противотуберкулезном санатории в с. Будаевка, в пригороде Киева. 11 июля по второй мобилизации был вновь призван в армию Сталинским райвоенкоматом г. Киева и вскоре оказался в мариупольском запасном полку. Я рассказал капитану, как порвал справку, чтоб попасть на фронт, и дней через десять воевал в составе 756-го стр. полка 150-й стрелковой дивизии в селе Казачьи Лагери и был рядовым взвода связи 1-го батальона, когда попал в плен под Каховкой, где наш батальон прикрывал отступление полка и дивизии 9 сентября 1945 года.

Расспросив меня подробно о том, как я оказался в плену, капитан начал заполнять большую, в несколько страниц, анкету: фамилия, имя, отчество и т.д. и т.п. Когда дело дошло до моей национальности, я впервые за эти годы заявил, что я — еврей. Это не вызвало никаких «поворотов» в допросе. Капитан лишь поинтересовался, не допрашивали ли меня в гестапо, а затем спросил, кто у меня остался в Киеве, когда я уходил на войну, и знаю ли я, что немцы расстреляли в Бабьем Яру 125 тысяч евреев (я этого не знал). И еще: оставался ли кто-либо из нашей семьи в Киеве после 11 июля 1941 года? Я ответил, что остались моя тетья Таня и шестилетняя сестренка (ее дочь), но она бы обязательно уехала при малейшей возможности, так как у нас в семье никто не сомневался в том, что в случае немецкой оккупации киевских евреев ждет поголовное уничтожение. Еще задолго до нападения Германии на Советский Союз я знал, что евреям от немцев нельзя ждать ни пощады, ни милосердия, что евреям они готовят только смерть. Это подтверждалось и беженцами-евреями из Польши, и всеми толковыми людьми, с которыми я общался. Затем капитан сообщил, что евреям при репатриации предоставлено право выбора, и я могу, если захочу, ехать из Германии не в Советский Союз, а в Польшу. Такая возможность меня удивила, но не заинтересовала. Впоследствии я сообразил, что такое предложение могло быть обыкновенной провокационной ловушкой, которую капитан обязан был мне расставить по долгу службы, а уж мое дело

было угодить в нее или не угодить, чтобы не стать узником ГУЛАГа, как это произошло с иными репатриантами.

В фильтрационном лагере я познакомился с человеком, который, так же как и я, всю войну скрывал свою национальность. Но только был он не евреем, а немцем. В начале войны он таился от наших, чтобы ему не запретили воевать и не отправили в тыл. А потом, когда попал в плен, скрывал от немцев свою национальность и знание немецкого языка, но теперь уже, чтобы не стать фольксдойчем, а разделить участь военнопленного в полной мере со своими товарищами по оружию.

Затем последовал предпоследний вопрос: кто может подтвердить, что я не скомпрометировал себя, пребывая в Германии, предательством или подобными неблагоприятными поступками прислуживания немцам. Я перечислил не менее десяти человек, находившихся тогда вместе со мной и проходивших, как и я проверку в фильтрационном лагере. Затем следователь предложил мне назвать тех, кто сотрудничал с лагерным начальством, предавал товарищей, вел себя вела себя недостойно или добровольно вступил во власовскую армию. Я назвал троих: Михаила Криждера, выдававшего себя фольксдойчем, и добровольно взявшего на себя полицейские обязанности, Николая Медведева, польстившегося на сытую жизнь и ради этого вступившего во власовскую армию, и Сергея, фамилию которого уже не помню, провокатора и предателя. Действовал он грубо, прямолинейно, чем себя и разоблачил. Немцы тотчас его из лагеря и убрали.

Этот Сергей каким-то образом обосновался в «больничном» бараке (в роли санитаря?) лагеря «Шлётвизе». Я знал о существовании этого барака, но стал его «пациентом» на один день в связи с очень сильно нарывающим «ячменем» на левом глазу. В этом бараке я познакомился с врачом, который лечил «остарбайтеров» от всех болезней при полном отсутствии медикаментов. Врач этот эмигрировал из России и попал в Германию во время войны не по своей воле из французской Африки. Вот здесь я и познакомился с красавчиком Сергеем. Очень трудно было определить его должность в больничном бараке, но ясно было одно: живется ему там хорошо, и занят он не очень, да и неясно, чем именно. На немцев это было совсем не похоже, что держат они там человека на привилегированном положении.

Вскоре после этого эпизода Иван Доронин пригласил меня прогуляться по лагерю и сообщил, что в лагере есть подпольная организация, куда ему предложили вступить. Некоторые подробности его сообщения меня насторожили, и вдруг меня осенило: не тот ли Сергей из больничного барака предложил ему участие в подполье. Иван был потрясен моей догадли-

востью, а я уже нисколько не сомневался, что Сергей — провокатор. Мне понадобилось не более пяти минут, чтобы убедить в этом Ивана. Прошло еще некоторое время, и сказались результаты «работы» Сергея: в концлагерь угодили три человека из нашей фирмы. Думаю, что угодили и другие. А Сергей из лагеря исчез навсегда.

Через неделю после допроса я уже был курсантом отдельного батальона 185-й, ордена Суворова, стрелковой дивизии. Командовал батальоном майор Спицын — мой ровесник.

Квартировали мы в комфортабельных особнячках авиазавода «Юнкерс» в Биттерфельде. На заводе полным ходом демонтировалось оборудование цехов и отправлялось в Советский Союз в счет репараций. А мы занимались боевой и политической подготовкой, ходили в караулы и готовились дослужиться до сержантских лычек. К территории завода примыкал большой массив фруктовых садилов, обнесенных сетчатой проволокой и принадлежавших, видимо, работникам завода. Стояла теплая европейская осень, ветви деревьев ломались от фруктов, а мы по мере сил старались их облегчить.

Я был вполне счастлив, службой не тяготился и, когда оказывался на улицах города, на железной дороге, в соседних населенных пунктах, — везде, где попадались мне на глаза наши воины, искал среди них своего младшего брата Рому. Почему-то я был уверен, что если из нашей семьи кто-нибудь уцелел, то это именно он. Письма, которые я посылал на домашний адрес, оставались без ответа.

(Окончание следует)

Публикация Романа Ленчовского